

САГАН
Коллекция

Франсуаза
САТРАН

**СИНЯКИ
НА ДУШЕ**

Роман

Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
С 13

Françoise Sagan
DES BLEUS À L'ÂME

Copyright © Flammarion, 1972 © Stock, 2009
Published by arrangement with Lester Literary Agency

Перевод с французского Аллы Борисовой

Серийное оформление и оформление обложки
Вадима Пожидаева

Издание подготовлено
при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-17140-4

© А. К. Борисова, перевод, 1999
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство Иностранка®

Март 1971 года

*М*не хочется написать: «Себастьян поднимался по лестнице, ступенька за ступенькой, то и дело с трудом переводя дух». Занятно обратиться сейчас к персонажам девятилетней давности: Себастьяну и его сестре Элеоноре, людям, конечно, из театрального спектакля, но театр этот — веселый, мой, постановки тут вечно проваливаются, но они всегда бесшабашны, бесстыдны и целомудренны и напрасно пытаются подделаться под Мориса Саша в нашем безнадежно уставшем от своей обыденности Париже. К несчастью, обыденность Парижа, а может, и моя собственная подавила во мне безрассудные желания, и теперь я с усилием пытаюсь вспомнить, когда и как «это» началось. «Это» — значит отказ от желаний, скука, размытые очертания жизни — все то, что привело меня к существованию, по сей день и по весьма веским причинам всегда меня привлекавшему. Более того. Это,

я думаю, началось в 1969-м, а из событий 1968-го, из всех этих порывов и провалов вряд ли, увы, вышел какой-нибудь толк. И дело не в возрасте: мне тридцать пять, зубы у меня в порядке, и, если мне кто-то нравится, обычно все удается. Просто я больше ничего не хочу. Я бы хотела полюбить, и даже страдать, и даже трепетать у телефона. Или ставить десять раз подряд одну и ту же пластинку, вдыхая воздух разбудившего меня утра, воздух, несущий естественное благословение природы, такой мне знакомый. «Я перестал чувствовать вкус воды, а потом вкус победы». Кажется, так поет Брель. Так или иначе, больше этого нет, я даже не знаю, понесу эти записки издателю или нет. Это ведь не литература и не исповедь души — просто некая особа стучит на машинке, потому что боится самой себя и машинки, рассветов и вечеров и пр. И других. Это плохо, когда есть страх, даже стыдно, и раньше я его не знала. Вот и все. И то, что это «все», — ужасно.

И такова сейчас не только я, весной 1971-го, в Париже. Я только и вижу, только и слышу вокруг себя людей нерешительных, перепуганных. Быть может, смерть бродит вокруг нас, и мы улавливаем ее и чувствуем себя несчастными неизвестно почему. Ибо, в конце концов, не в этом

дело. Смерть — я не говорю о физической смерти — представляется мне в черном бархате, в перчатках и в любом случае чем-то непоправимым, окончательным. Порой окончательность уходит, как было в пятнадцать лет. К несчастью, я хорошо знаю, какая это радость — жить, и потому ощущение окончательности возникает во мне мимоходом, как минутная слабость, и я буквально надрываюсь, чтобы захотеть этой мимолетности. Из гордости, может быть, да еще из страха. Собственная смерть есть наименьшее зло.

Но что повергает в ужас: бесконечное насилие повсюду, непонимание, злоба, часто оправданная, одиночество, ощущение стремительно надвигающейся беды. Молодые люди, которые ни на секунду не потерпят даже мысли — если она вообще придет им в голову — потерять хоть один день своей юности, и люди зрелые, которые изо всех сил стараются оттянуть старость, отбиваясь от нее уже после тридцати. Женщины, которые хотят быть наравне с мужчинами, убедительные доводы и добрая воля одних, безжалостный комизм других — все это свойственно людям, но подчинено Богу, которого они хотят отринуть и имя которому — Время. Но кто читает Пруста?

И новый язык, и неспособность понять друг друга, и молоко человеческой нежности, возникающей порой. Редко. А иногда — чье-нибудь восхитительное лицо. И безумная жизнь. Она всегда виделась мне неистовым зверем, обезумевшей матерью. Как Блоди Мама или Джокаст и Леа и, конечно и прежде всего, Медея. Мы брошены сюда, на эту планету, которая не претендует даже — о, какое оскорбление — на исключительность; когда я говорю «оскорбление», я имею в виду именно это, потому что единственное место, где может быть жизнь, мысль, музыка, история — у нас, и только у нас. Разве это может быть у других? Разве у нашей общей матери — жизни, этой лживой любовницы, были еще дети? Когда человек, люди с корабля «Аполлон», например, бросаются в космическое пространство, то вовсе не для того, чтобы найти братьев по разуму, — я убеждена в этом. Ему нужно удостовериться в том, что их нет, что эти несчастные семьдесят лет жизни (или сколько ему дано) принадлежат ему одному. Он страдает от предполагаемого первенства марсиан. А почему считается, что марсиане безобразны и малы ростом? Потому что мы ревнивы. Или еще: «Ведь правда, что на Луне нет травы?» — «Нет, трава

есть только у нас». И вся эта славная земля, полная национализма и страха, одинаково радостно и успокаивается, и терзает себя и когда зарастает травой, и когда ее заливают кровью, и в том и в другом случае повинуюсь нелепости существования. И все эти кретины, которые заботятся о «народе», трогательно неловкие в своих левацких сюртуках, уже давно израсходовавшие все, что им было дано, говорят нам о «народе», нам, которые ненавидят правых и защищаются от левых, стараясь не допустить, чтобы злой безумец (или тихий) превратил бы тот самый свой жалкий сюртук и вовсе в лохмотья, непригодные для употребления. Народ.

Не дано понять, что это слово даже оскорбительно, что есть какой-то человек и еще человек, есть женщина, ребенок и еще какой-то человек, что каждый не похож на другого и понятен во всех своих притязаниях и что в большинстве случаев, вопреки расхожему представлению, этот каждый не может ни понять другого, ни увидеть его, ни прочесть. Сартр, вскарабкавшись на бочку, быть может, понимал это, хотя был честен и неловок. А Диоген, сидя внутри нее, говорил с каждым. Оба — тонко чувствующие люди, наделенные

умом на первый взгляд, высмеивающие все и вся. Они смеются и над собой. Это здорово — в наше время быть смешным, «осмеянным» чьим-то острым умом. Здорово и беспокойно — потому что здорово. Ни Стендаль, ни Бальзак такого бы не потерпели. (В своих произведениях, конечно.) Единственным пророком в этом смысле был Достоевский, по крайней мере для меня.

Я рассуждаю о жизни вместо того, чтобы говорить о Себастьяне Ван Милеме, шведском аристократе, очень веселом и очень несчастном. Но что я знаю об этом? Когда он появится снова, я расскажу о нем подробнее. Это моя задача, я пишу, я люблю это и хорошо свою задачу вижу. Мне кажется, жизнь похожа на мать-самку, которая берет своих детенышей за шиворот, чтобы вывести их на прогулку, как делают догадливые и заботливые кошки (такая позиция обеспечит вам довольно удобное существование). Или поперек спины. Или за лапу. Именно в этом неустойчивом положении, желая падения как передышки, находится изрядное число наших современников. И забудем безумства любви, жизненные ловушки, великие страдания и кое-каких поэтов. Забудем их. Конечно, это верх глупости,

но я никогда не забуду поэзию; я никогда не любила ее так, как сейчас, и никогда не умела писать стихи.

Я запросто могла бы вызвать в памяти запах травы и бросить корзинку из пахучей соломы в этот роман, откровенно петляя какой-нибудь главой. Теперь для меня самое важное — назвать. Как только я погружаюсь в запах травы, опускаю в него лицо, я тут же обязана назвать его: господин запах травы. А море, сумасшедшее море — я тоже должна познакомить его с собой, вернее, представить своему телу: это твой большой друг — море. Оно узнало его, но не бросилось навстречу. Я — нежная мать, прогуливающая в Виши капризное дитя — собственное тело. «Поздоровайся с мадам Дюпон, которая была так добра с тобой в прошлом году (или десять лет назад), когда ты болела». А ребенок упирается. Отказывается он порой и от аромата любви, и от ее колдовских чар. И я в испуге отворачиваюсь от разноцветных реклам в газетах, где прозрачное море омывает красноватые утесы, где простираются безукоризненные пляжи за тысячу триста пятьдесят франков в оба конца. «О, пусть они едут туда, — вздыхает мое зачарованное тело, — пусть они все

туда едут, пусть загорают и развлекаются в тех местах, которые так часто были для меня смыслом жизни, моей любовью, моей добычей. Пусть они берегут их. Да здравствуют Средиземноморские клубы. К черту море с тем же названием! Пусть оно резвится с юными завсегдатаями или со старыми, с туристами — бедное, безумное море! Я больше не буду его воспевать — я его забуду; впрочем, нет, однажды, в какой-нибудь подходящий день, в апреле например, я случайно поеду туда, рассеянно окуну в него ногу или руку, зябко поеживаясь. Оно и я, как много раз прежде...» Наверное, грустно стареть — больше не узнавать своих. И что я скажу об этих многочисленных телах, которые шагают рядом с моим, через пятнадцать лет, с которыми засыпаю или время от времени оживляюсь и от которых теперь бегу, как будто я стала воплощением того, о чем говорит Элюар: «Худое, рвущееся ввысь тело, зверь, любимый в детстве, — это тело растерянной птицы»?

Себастьян поднимался по лестнице ступенька за ступенькой, то и дело с трудом переводя дух. Шестой этаж был для него все-таки высоковат. И не потому, что ему мешал слишком большой вес — дело

было в десяти тысячах сигарет, выкуренных давно и недавно, и десяти тысячах стаканов всяких напитков — их разнообразие и сейчас заставило его улыбнуться. И правда, в последние годы завелась привычка вспоминать напитки, а не женщин, как это было раньше. Был год коктейля «Негрони», соответствующий году Недды, год сухого мартини, соответствующий году Мариэллы Деллы, хоть это и длилось больше года. Год рома, в Бразилии, с Анной Марией. Как все это было весело, бог ты мой! В конечном счете он не был ни ходоком, ни любителем выпить, просто его восхищало соединение вина и женщин. В любом случае господствующей величиной существования была его сестра Элеонора, она, и только она, без вина и вместе со всем вином в мире. Во все времена жизнь без нее, вино без нее были все равно что пресная вода. В самом деле, куда удобнее, когда кто-то смотрит за тобой, даже если этот кто-то — что бы она там ни говорила — еще больший раб, чем ты сам. Время от времени она взбадривалась, выходила замуж, исчезала, и через несколько путаных месяцев и многочисленных ссор, о которых она рассказывала не иначе как по прошествии долгого времени и всегда весело сме-

ясь, она возвращалась. Богатая или бедная, изнуренная или пышущая здоровьем, грустная или веселая, но всегда сумасбродная, несравненная, прекрасная Элеонора, его сестра, возвращалась к нему.

В этот раз они вместе вернулись после длительного пребывания в Скандинавии, у мужа Элеоноры, и ситуация их была плачевной. Просто чудо, что старый друг Себастьяна оставил им две комнаты на улице Флери. У них было не так уж много денег — и в банке, и в карманах. Элеонора отдала брату несколько своих прекрасных украшений — для продажи, поскольку совершенно не дорожила ими: на что они еще годны? Зато для какой-нибудь другой женщины они могут стать козырем.

Себастьян позвонил, и она тут же открыла ему. На ней был халат.

— О-о, бедный мальчик, — сказала она, помогая ему добраться до расшатанного кресла, — бедный мальчик, он так пыхтел, взбираясь по лестнице, в его-то возрасте... Я слышала, как ты поднимался, боялась, что не дотянешь.

Он держался за сердце, вид был измученный.

— Постарел я, — сказал он.

— И я, — она засмеялась, — когда спускаюсь по лестнице, чувствую себя Исидорой Дункан, просто порхаю. Когда под-

нимаюсь, я Домино Фэтс. Кого-нибудь встретил?

Кого-нибудь — значит, кого-то из не очень постоянных знакомых, кто, ценя их очарование, чудачества и их везение, приходил иногда провести с ними время. Недостатка в подобных случаях не было, и обычно именно Себастьян кого-нибудь и приводил, Элеонора же, если к тому был повод, предпочитала куда-нибудь пойти.

— Никого, — сказал Себастьян. — Артуро в Аргентине, чета Вильявер — в отпуске; что касается Никола — хочешь верь, хочешь нет, — он работает.

В глазах Элеоноры мелькнуло выражение растерянности и легкого ужаса. (Работа никогда не была сильным местом Ван Милемов.)

— Что за город! Кстати, у меня хорошая новость: здесь можно одеваться как угодно. К черту великих портных: какая-нибудь занавеска, брюки, парадные украшения — сойдет все, что хочешь. Я посмотрела на улице. При условии, что я не забываю о своих тридцати девяти годах, я еще вполне... Похоже, я не останусь одна...

— Тем лучше, — сказал Себастьян. — Я никогда и не сомневался.

Он был прав: худощавая, с невероятно длинными ногами и прекрасно вычерченным лицом — высокие скулы, светлые, чуть вытянутые к вискам глаза, — Элеонора была великолепна. А на его лице, такого же рисунка, как у Элеоноры, всегда сохранялось выражение мягкого скептицизма. Нет, что ни говори, они прекрасно дополняли друг друга. Он вытянулся в кресле.

— Скука — это когда рядом нет людей, которые тебе нужны. Надо бы довольствоваться обществом собственной персоны, — может быть, даже больше, чем твоим.

— Прекрасно, — сказала она. — И как ты до этого дошел?

— Благодаря Никола. Ему кажется, что множество пресыщенных мужчин занимаются любовью друг с другом, а воюющие женщины рыскают по городу в поисках добычи. А когда они молчат, их заменяют студенты. Да, паразитизм есть паразитизм.

— Давай без громких слов. Посмотри лучше, как прекрасен Париж.

Он облокотился о подоконник рядом с ней. Стену напротив освещал розовый свет, а на крышах соседних домов сверкали блики. Запах свежей земли доносился

из Люксембургского сада, заглушая бензиновые испарения. Он засмеялся:

— Если ты оденешься в занавеску, может, мне отрастить волосы?

— Советую поторопиться. Скоро их не останется совсем.

Он легонько шлепнул ее по ноге. У него никого не было, кроме нее.

Может быть, я все-таки должна рассказать историю моих героев? А то не похоже на начало романа. Может, следует — как это говорится? — обрисовать характеры персонажей, декорации. Последние особенно скудны. Но декорации убивают меня, кроме тех случаев, когда авторы, описывая их так скрупулезно, так вкусно, получают от этого такое удовольствие, что я готова улыбнуться от радости за них. Перечитываю написанное: шесть этажей, расшатанное кресло, крыши (понятно, если шестой этаж) — м-да, маловато. Но мне кажется, что скромность и ненадежность существования моих героев достаточно показана именно этими шестью этажами. Я всегда ненавидела высокие этажи; когда я поднимаюсь, у меня срывается дыхание, а когда спускаюсь, то кружится голова. (Я порвала с одним человеком из-за пятого этажа. Он так об этом

и не узнал.) Предоставив моим Ван Милемам то, что я терпеть не могу сама, я еще оставила им пустую квартиру — куда уж хуже. Но они веселы — это и есть лучшая декорация. Тем более что теперь нужно найти кого-нибудь, кто бы их содержал, и чтобы этот кто-то не был слишком условным — иначе будет смешно. Понятия не имею, где мне его найти: богатые всегда кричат, что у них нет денег, бедные не кричат, а только тихо жалуются: вы же знаете, налоги и т. д. Нужно найти какого-нибудь иностранца. Вот до чего дошла Франция в 1971 году. Заботясь о достоверности, я вынуждена разбавить моих очаровательных Ван Милемов каким-нибудь иностранцем. Предпочтительно проживающим в Швейцарии. Это весьма неприятно для моей национальной гордости. С другой стороны, я не могу заставить Элеонору работать в фирме «Мари-Мартен» или где-нибудь в ломбарде. Так же, как бросить Себастьяна в финансовые дела или на биржу. Они умрут там оба. Вопреки тому, что обычно думают, безделье — такой же сильный наркотик, как труд. Если великого труженика лишить работы, окажется, что он начинает чахнуть, худеть, впадать в депрессию и т. д. Но лентяй, подлинный лентяй, прорабо-

тав несколько недель, оказывается в состоянии прострации. Он чахнет, худеет, впадает в депрессию и т. д. Я не хочу, чтобы Себастьян и Элеонора работали до полусмерти. Меня достаточно упрекали за мой маленький мир, праздный и пресыщенный, мир шутов гороховых; но это не причина, чтобы приносить на жертвенный алтарь критики моих усталых шведов. Позже, вместе со всем прочим, я рассмотрю этот вопрос в другой книге (если Господь Бог и мой издатель продлят мне жизнь). Когда-нибудь я расскажу о списке расходов, о машине и телевизоре в кредит, об обычных людях. Если они есть. Со всем тем, что они тянут на себе. Я знала людей, машины которых похожи на маленькие металлические коробочки и для которых пробка посреди старых, добрых, милых сердцу выхлопных газов — тайная радость. У них есть час-полтора между конторой и домом — и они рады. Потому что хотя бы час такой человек один в своей маленькой коробочке. Никто не пристанет к нему, никто с ним не заговорит, он не станет «жертвой агрессии», как говорят психиатры. Заставьте признаться в этом любого мужчину или любую женщину, которые работают... Машина-кров, машина-хижина, машина — материнская грудь

и т. д. Так что, с моей точки зрения, это не инструмент автоаварий, который хозяева протирают специальной тряпочкой по воскресеньям, — это их одиночество и их единственный светлый луч.

Радоваться надо осторожно. Я не доверяю сладкой эйфории, которая после сильного начала захватывает писателя через две-три главы и заставляет цедить сквозь зубы что-нибудь вроде: «Ну вот, все пошло отлично!», «Так, а теперь еще лучше!». Фразы, конечно, механические и убогие, а иногда более развернутые: «Но ведь не должен же я наступать на горло собственной песне». Звучит более лирически и порой искренне. Вот так художник может сбиться с пути: несоответствие тона может увести его от товарищей по ремеслу, от других людей. Эта эйфория опасна, поскольку подкрепляется верой в «незыблемые основы» (всегда со ссылками на конкретные дела), — так почему бы, после всех высказанных опасений, не пойти немного погулять? Особенно если рядом пустынный и залитый косыми лучами светлого мартовского солнца Довиль. Глядя позавчера на одинокие здания на фоне сверкающего неба, на море, очень кстати всеми покинутое (Ла-Манш у меня никогда не пользовался взаимностью из-за

его температуры), я поняла, почему молодые режиссеры тащат туда свои камеры и своих героев зимой. И тут же я подумала, что не могу больше выносить на экране зрелища бегущей по пляжу пары, так же как, впрочем, вида двоих людей (или дюжины), независимо от их пола, в постели, с обнаженным торсом, под более или менее сползшим одеялом. Сообщаю, кстати, любителям шалостей: ни в малейшей степени, ничего подобного в этом романе не будет. Максимум: «Элеонора в этот вечер домой не пошла». Заверяю вас, так и будет! Что они сделали с безумием ночей, шепотом в темноте, с «тайнством», великим тайнством физической любви? Неистовая сила, красота, гордость обладания — что от них осталось? Мы видим некую даму в постели, которая, закрыв глаза, поводит туда-сюда головой, затем профиль и мускулистую спину какого-то бедного парня, который ритмично двигается, а ты тихо ждешь в своем кресле, когда же это кончится. Публика скорее завидует, чем шокирована: по крайней мере, развлечение. Все эти гроздья, эти тонны человеческой плоти, которые бросают нам в лицо с экрана, — плоти загорелой или бледной, в положении сидя, сверху, лежа — какая скука! Вот оно, тело, пришло его

счастье, его час — радость потребления! Бедняги... Они думают, что разрушают смехотворные предрассудки, — на самом деле они уничтожают прекрасную сказку. Не хватает еще время от времени вставлять: «Возможно, я заблуждаюсь». Старая уступка читателю, но глупо делать ее здесь, поскольку в мои намерения как раз и входит заблуждаться. Впрочем, эти поверхностные исследования на эротическую тему меня раздражают. Возвращаясь к Ван Милемам, «которые много занимаются этим, но никогда об этом не говорят».

Ресторан был замечательный. Элеонора заказала девять устриц с лимонным соком и золотистую морскую рыбу. И наконец «Пюйи Фюиссе», очень сухое. Голодный Себастьян набросился на яйцо в желе и бифштекс с перцем, конечно же сопровождаемый «Божоле». «Божи» не было, и оба выразили по этому поводу легкое сожаление. В противоположность своим прежним намерениям, Элеонора была одета не в занавеску. Она по мановению волшебной палочки, которой только она и владела, встретила на улице свою старинную приятельницу, деятельную, некрасивую и преданную, и во исполнение мечты каждой женщины та отвела ее к своему знакомому, хозяину ателье проката с опла-

той «после». Очарованный Элеонорой, он так разошелся, что предоставил ей несколько платьев, сшитых будто специально для нее, и при этом негодуяще махал руками, типично по-гасконски, когда она пыталась вручить ему чек. Так что роскошно одетая Элеонора проедала девять тысяч последних старых франков Себастьяна — а значит, и своих — на террасе кабачка на улице Марбеф.

— После завтрака, я подсчитал, у нас останется две-три тысячи франков, — сказал Себастьян, щурясь от солнца, светившего ему в лицо. — Ты заказала десерт? Если нет, мы сможем вернуться домой на такси.

— Глупо, конечно, — сказала Элеонора, — но, поскольку я заказала пирожное, такси становится почти невозможным. Жизнь — несносная штука.

Они улыбнулись друг другу. Сейчас, при безжалостном свете мартовского солнца, на лицах обоих проступили явные морщинки. «Моя старушка, — подумал Себастьян, — моя дорогая старушка, я вытаскиваю тебя из всего этого». От волнения у него так перехватило горло, что это поразило его самого.

— По-моему, в твоём бифштексе было слишком много перца, — рассеянно

Саган Ф.

С 13 Синяки на душе : роман / Франсуаза Саган ; пер. с фр. А. Борисовой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. — 192 с. — (Саган. Коллекция).

ISBN 978-5-389-17140-4

Франсуазу Саган называли Мадемуазель Шанель от литературы. Начиная с самого первого романа «Здравствуй, грусть!» (1954), наделавшего немало шума, ее литературная карьера складывалась блестяще, она с удивительной легкостью создавала книгу за книгой, их переводили на различные языки, и они разлетались по свету миллионами экземпляров. В романе «Синяки на душе» (1972), как и во многих романах писательницы, речь идет о любви, хрупкой, нерешительной, мимолетной. Верная себе Саган заводит своих персонажей в лабиринт запутанных отношений: вокруг Себастьяна и Элеоноры кружатся странные люди, пытаясь проникнуть в тайны брата и сестры, а те, изысканные, сдержанные, ироничные, со смехом ускользают, ведь они вероломны, то есть — по слову поэта — «сами себе верны»... Франсуаза Саган, и сама зачастую избегавшая докучных жизненных обязательств, создавая этот двойной автопортрет, заодно азартно полемизирует со своими поклонниками и критиками, не забывая поглядывать, чем же закончится одиссея ее героев.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Литературно-художественное издание

ФРАНСУАЗА САГАН

СИНЯКИ НА ДУШЕ

Ответственный редактор Галина Соловьева
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Мария Левина, Татьяна Бородулина

Подписано в печать 25.09.2019.

Формат издания 84 × 90 ¹/₃₂. Печать офсетная.

Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 8,4. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-CFS-25639-01-R